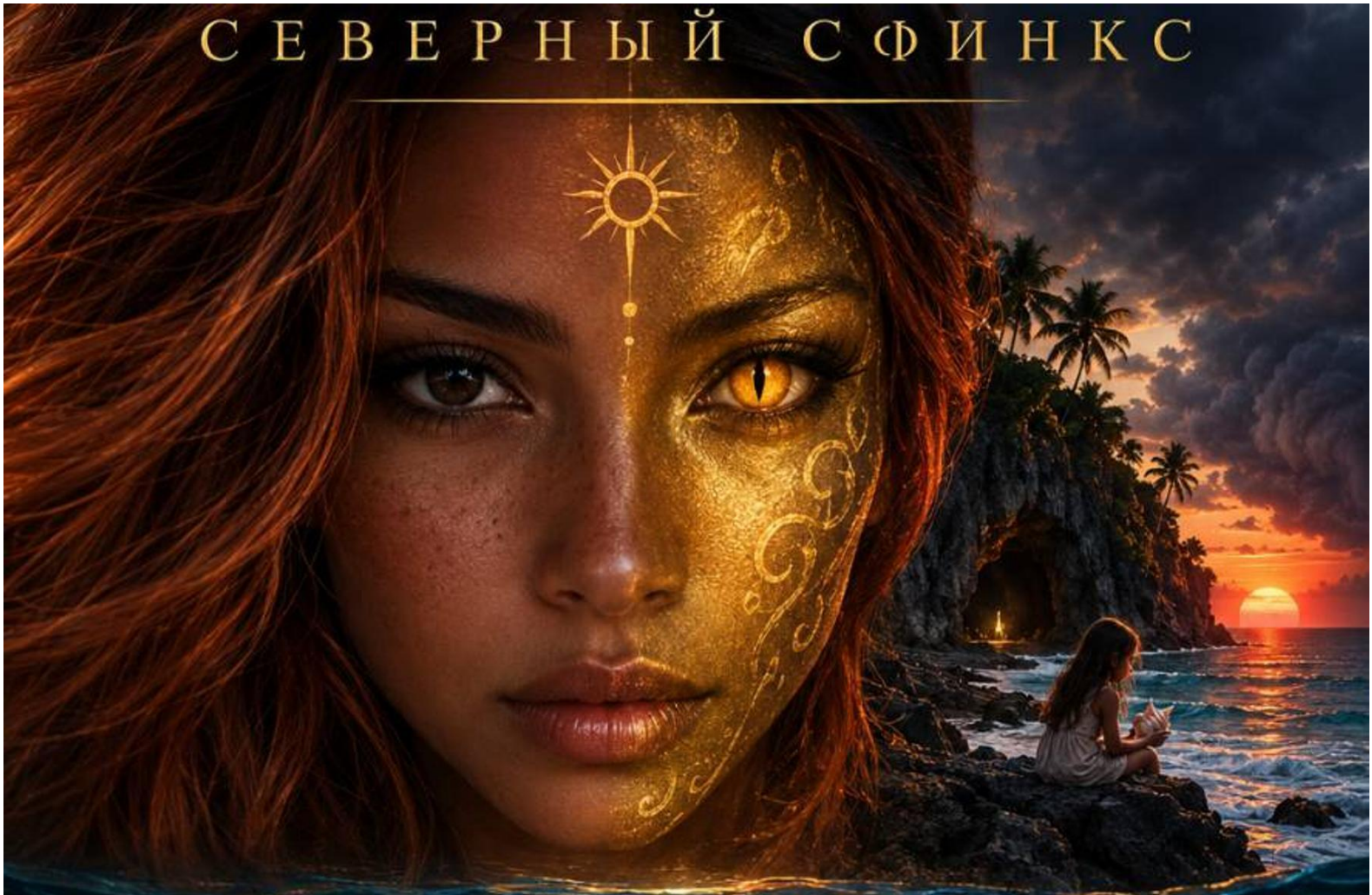
СЕВЕРНЫЙ СФИНКС





ЗАПАДНЫЙ ДОМ

МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

Сфинкс Северный

Западный Дом

«Автор»
2026

Северный С.

Западный Дом / С. Северный — «Автор», 2026

Один корабль из сорока ушёл на запад. Пятьсот лет его потомки спали на дне жёлоба Пуэрто-Рико и верили, что люди нарочно принесли им смерть. Теперь Закатный Дом проснулся, его гора остывает, а молодая певица ветра готова спеть бурю на остров. Вячеслав Корнилов спускается на восемь километров без аппарата, а девятилетняя девочка из рыбацкого посёлка должна начать песню первой.

© Северный С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Нота, которой нет 6
Глава 1. Люсия 7
Глава 2. Сборы 11
Глава 3. Сход у ворот 16
Глава 4. Аресибо 21
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Сфинкс Северный
Западный Дом

Роман является художественным произведением. Исторические источники, упомянутые в книге, — диалоги Платона, хроники ордена Храма, испанские хроники XVI века о Карибских островах, данные океанологии и палеогенетики — существуют на самом деле; их толкование и всё, что с ними происходит на страницах романа, вымышлено. Все персонажи, учреждения, компании, службы и организации вымышлены, любые совпадения с реальными людьми случайны. Посёлок Лас-Пьедрас на северном побережье Пуэрто-Рико придуман автором.

Часть первая. Нота, которой нет

Et unus ex quadraginta navibus abiit illuc, ubi sol occidit, et in litore aliud carmen cantavit.
И один корабль из сорока ушёл туда, где заходит солнце, и пел на берегу иную песню.
Из листа, найденного в переплёте Liber Occultus

Глава 1. Люсия

Пуэрто-Рико, посёлок Лас-Пьедрас. 15 сентября 2028 года

Бабушка нашла её на рассвете.

Люсия сидела на чёрном камне у самой воды, обхватив колени, мокрая до пояса, и смотрела на риф. Солнце ещё не поднялось, но небо над морем уже стало серым, жемчужным, и вода у рифа была спокойной, гладкой, как стекло. Пеликаны летели низко над ней цепочкой, один за другим, как всегда по утрам.

— Люсия Мария Ривера, — сказала донья Кармен.

Она стояла на песке, в старом халате, в резиновых шлёпанцах, с фонарём в руке, хотя фонарь был уже не нужен. Маленькая, сухая, тёмная, с седыми волосами, заплетёнными в косу до пояса. Семьдесят четыре года. Сорок лет она провожала мужа в море и встречала с моря, а потом однажды не встретила. Она знала, как выглядит человек, который всю ночь просидел у воды.

— Бабушка, — сказала Люсия, не оборачиваясь. — Он ушёл.

— Кто ушёл?

— Золотой.

Донья Кармен помолчала. Потом подошла. Медленно, увязая шлёпанцами в мокром песке. Села на камень рядом с внучкой. Сняла с себя халат, остался старый ситцевый сарафан, и накинула халат Люсии на плечи.

— Рассказывай, — сказала она.

* * *

Люсия рассказала.

Про то, что вылезла в окно, как вылезала каждую ночь с весны. Про то, что океан пел. Про золотой свет у рифа. Про высокого, очень высокого, с длинными руками, по пояс в воде. Про кожу, которая блестела не как у людей, а как старая монета. Про глаза.

— Как у кошки, — сказала она. — Зрачки. Вот так. — Она провела пальцем по воздуху сверху вниз. — Бабушка, я не вру.

— Я знаю, что ты не врёшь, — сказала донья Кармен.

— Он запел. Одну ноту. Ту, которую я пою. Ну, ты знаешь. С весны. Только чуть-чуть другую. И я ответила. А он стоял и слушал. Долго. Пока у меня горло не заболело. А потом поднял руку. Вот так. И ушёл. Под воду. И свет ушёл.

Донья Кармен смотрела на риф.

— Он тебе что-нибудь сказал?

Люсия подумала.

— Нет. Только пел. Но мне показалось... — Она замялась. — Мне показалось, что он плакал. Бабушка. Разве такие плачут?

Донья Кармен не ответила.

Солнце поднялось над морем. Красное, круглое. Вода у рифа зажглась.

* * *

Дома бабушка поставила на плиту кофе. Старую алюминиевую кофеварку, которую дедушка купил в Сан-Хуане ещё до рождения мамы. Достала из жестяной коробки печенье. Посадила Люсию за стол на кухне, у окна, из которого было видно море.

А сама ушла в спальню и долго не возвращалась.

Люсия слышала, как она двигает что-то тяжёлое. Как скрипит сундук. Тот самый, под кроватью, который бабушка никогда не открывала при ней. Мама говорила — там дедушкины вещи. Сети, ножи, фотографии. Нельзя трогать.

Бабушка вернулась с деревянной шкатулкой.

Маленькой, тёмной, вытертой до блеска чьими-то руками. На крышке был вырезан узор: волна, а над волной — птица с длинным хвостом. Или змея с перьями. Люсия не могла понять.

Бабушка поставила шкатулку на стол. Открыла.

Внутри, на выцветшем красном лоскуте, лежал камень.

Зелёный. Тёмный, с прожилками, гладкий, как будто его много веков держали в ладонях. Размером с куриное яйцо. И на нём, едва различимо, — знак. Не буква. Не рисунок. Что-то среднее. Несколько линий, сходящихся в одну точку, как лучи.

— Это от моей бабушки, — сказала донья Кармен. — А ей — от её бабушки. А той — от её. Сколько — я не знаю. Очень давно. С тех пор, как на острове ещё жили те, кто был здесь до испанцев.

— Таино? — спросила Люсия. Им в школе рассказывали. Про таино, которые жили на острове до того, как пришли корабли. Про то, что они спали в гамаках, пекли лепёшки из маниоки и играли в мяч на площадках, выложенных камнями. Про то, что потом они все умерли.

— Таино, — сказала бабушка. — Мы все немножко таино, Люсия. Здесь, на острове. Кто больше, кто меньше. В нас течёт их кровь. Учительница тебе говорила?

— Говорила.

— А про это не говорила.

Она взяла камень. Положила Люсии на ладонь.

Камень был тёплым.

Не как камень, который лежал на солнце. Изнутри. Как будто в нём, глубоко, что-то жило.

* * *

— Моя бабушка, — сказала донья Кармен, — рассказывала мне, когда я была такая, как ты. Девять лет. Мы сидели на этом самом пляже. Она говорила: у моря есть люди. Не рыбы. Не духи. Люди. Они жили с нами, когда остров был молодым. Они были высокие, с золотой кожей, с глазами как у кошки. Они приходили из воды и уходили в воду. Они учили наших предков петь дождю, чтобы он шёл, когда нужно, и ветру, чтобы он не дул, когда не нужно. Они лечили. Они женились на наших и выходили за наших. Наши дети и их дети — это были одни и те же дети.

Люсия слушала. Камень тёплый лежал у неё на ладони.

— А потом пришли корабли, — сказала бабушка. — С востока. Большие, белые. И с ними пришла болезнь. Та, от которой лицо покрывается язвами. И все стали умирать. Наши. И их. Морские люди тоже умирали. Они не знали этой болезни. У них не было защиты. Как у нас.

— И что?

— И морские люди ушли, — сказала донья Кармен. — В воду. Все. Однажды ночью. Моя бабушка говорила — её бабушке рассказывала её бабушка — что в ту ночь море у рифа светилось золотым до самого утра. А потом погасло. И больше никогда не светилось.

Она замолчала. Посмотрела в окно. На море.

— До вчерашней ночи, — сказала Люсия.

— До вчерашней ночи.

* * *

— Бабушка. А камень?

— Камень — от них. — Донья Кармен коснулась знака тёмным пальцем. — Моя бабушка говорила: это знак рода. Нашего. В нашем роду был кто-то из них. Давно. Очень давно. Женщина с золотой кожей, которая вышла за рыбака из этой деревни. Здесь тогда была не деревня. Здесь было селение таино. На этом самом месте. Под нашим домом, если копнуть, найдёшь черепки.

Она взяла камень у Люсии. Подержала. Положила обратно на красный лоскут.

— Бабушка мне сказала: береги. Когда-нибудь море снова засветится. И тогда кто-то в нашем роду услышит, как оно поёт. И ответит.

Люсия смотрела на неё.

— Это я?

— Похоже на то, — сказала донья Кармен.

И вдруг, неожиданно, улыбнулась. Широко. Беззубо. Как улыбаются старухи, когда сбывается то, во что они сами не очень верили.

— Я думала — сказки, — сказала она. — Всю жизнь думала. Бабушкины сказки. А весной все пошли к воде. И я пошла. И запела. Ту колыбельную, которую пела мне бабушка. Без слов. Я её шестьдесят лет не пела. А тут запела. Сама. И мама твоя запела. И весь посёлок.

— Я помню.

— А ты пела одну ноту, — сказала донья Кармен. — Высокую. Я тебя слышала. Всю ночь потом не спала. Думала: это та нота. Бабушкина. Она её пела, когда смотрела на море. Одну. Говорила — чтобы те, внизу, помнили, что мы здесь.

* * *

Мама вернулась с ночной смены в восемь.

Ана Ривера, тридцать четыре года, медсестра в больнице в Аресибо. Усталая, в синей форме, с сумкой через плечо и пакетом из пекарни. Она вошла на кухню, увидела шкатулку на столе, увидела мокрую Люсию в бабушкином халате, увидела бабушку — и остановилась на пороге.

— Мама, — сказала она. — Что случилось?

Донья Кармен рассказала.

Ана слушала. Не перебивала. Стояла у двери, сжимая пакет с хлебом. Лицо у неё становилось всё бледнее.

— Мама, — сказала она, когда бабушка замолчала. — Это опасно. Ты понимаешь? Ребёнок ночью один у воды. А если бы она утонула? А если бы это был... не знаю. Какой-нибудь сумасшедший. Ныряльщик. Контрабандист.

— С золотой кожей? — спросила донья Кармен.

— Мама!

— Ана. — Бабушка встала. Маленькая. Сухая. Ниже дочери на голову. — Ты тоже пела весной. У воды. Ты помнишь, что ты чувствовала?

Ана молчала.

— Помнишь, — сказала донья Кармен. — Я знаю, что помнишь. Ты потом неделю плакала по ночам. Ты мне не говорила. Я слышала.

— Это был стресс, — сказала Ана. — Отключение. Паника. В больнице все говорили — массовый психоз. Доктор Ортис говорил...

— Доктор Ортис тоже пел, — сказала бабушка. — На пирсе. Я видела.

Ана села на табурет у двери. Положила пакет с хлебом на колени. Закрыла лицо руками.

— Я не хочу, — сказала она глухо. — Мама. Я не хочу, чтобы она была... особенной. Я хочу, чтобы она была обычной. Ходила в школу. Ела хлопья. Ругалась со мной из-за телефона. Я уже потеряла Хосе. Море его забрало. Я не отдам ему ещё и её.

Люсия смотрела на маму.

Папа ушёл в море, когда ей было три. На лодке. За тунцом. Был шторм. Лодку нашли. Его — нет. Она его почти не помнила. Только запах. Солёный. И руки. Большие. Тёплые.

Она слезла с табурета. Подошла к маме. Обняла её.

— Мам. Я никуда не пойду.

Ана обняла её в ответ. Крепко. Так, что стало трудно дышать.

— Обещаешь?

Люсия хотела сказать: обещаю.

И не сказала.

Потому что в этот момент — далеко, очень далеко, под домом, под пляжем, под рифом, под всей водой, на такой глубине, что не бывает света, — что-то запело. Одну ноту. Низкую. Долгую. Едва слышную.

Как будто звало.

И камень в шкатулке на столе, зелёный, тёмный, с лучами, — засветился. Чуть-чуть. Золотом.

Ана подняла голову. Посмотрела на шкатулку. И замерла.

— Мама, — прошептала она. — Это что?

Донья Кармен не ответила. Она смотрела в окно. На море.

У рифа, в утреннем свете, по гладкой воде, бежала золотая рябь.

* * *

В тот же день, в шесть вечера по местному времени, на другом конце Земли, в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки, был час ночи.

Вячеслав Корнилов сидел в кабинете у телефона Голицыных и не спал.

Он не спал уже сутки. С той минуты, как в четыре часа утра белый телефон из слоновой кости зазвонил, и незнакомый голос, старый, медленный, сказал по-латыни: «Седьмой. Брат ищет брата. Ты слышишь?»

Лариса сидела напротив, в бордовом кресле, с чашкой остывшего чая.

— Ты ответил «мы идём», — сказала она.

— Ответил.

— Корнилов. Ты понимаешь, что жёлоб Пуэрто-Рико — восемь тысяч четыреста метров? Что «Глубина» рассчитана на шесть? Что Аркадий Ильич на пенсии? Что у нас нет ни судна, ни аппарата, ни денег, ни разрешения, ни малейшего представления о том, что там внизу?

— Понимаю.

— И что ты будешь делать?

Вячеслав посмотрел на телефон.

— Спрошу у Дома, — сказал он. — Через неделю равноденствие. Сход. Мы туда и так идём.

Лариса поставила чашку.

— А потом?

— А потом, — сказал Вячеслав, — пойдём на запад.

Глава 2. Сборы

Санкт-Петербург. 16–18 сентября 2028 года

Семён пришёл в восемь утра, без звонка, с ноутбуком под мышкой и с лицом человека, который всю ночь не спал и не собирается.

— Огава ответил, — сказал он с порога.

Вячеслав открыл дверь в халате. За его спиной на кухне Лариса гремела сковородкой. Пахло горелым.

— Заходи.

Семён прошёл на кухню, сел за стол, открыл ноутбук, развернул экраном к ним. Лариса выключила плиту. Яичница была безнадёжна.

— Я написал ему в субботу, — сказал Семён. — Ночью, сразу после того, как вы мне позвонили про телефон. Коротко. По-английски. Что я читал его статью. Что у меня есть записи двенадцати герц из Тихого океана за полтора года. Что я думаю, его сигнал из-под Пуэрто-Рико и мой — не просто похожи. Что они разговаривают. — Семён перевёл дыхание. — Он ответил через четыре часа. Вот.

Письмо было длинным. Вежливым. Очень японским: три абзаца извинений за беспокойство, благодарностей за интерес и оговорок о предварительном характере данных. А потом — дело.

Кэндзи Огава, сейсмолог из университета в Сендае, пятьдесят два года, двадцать лет изучающий подводные землетрясения, писал, что сигнал из Атлантики за последний месяц изменился. Стал ровнее. Сильнее. Регулярнее. И что в ночь на пятнадцатое сентября, в два часа по Гринвичу, его станции на Пуэрто-Рико записали то, чего он не мог объяснить: короткий всплеск. Не двенадцать герц. Выше. Гораздо выше. В слышимом диапазоне.

«Это звучит, — писал Огава, — как одна нота. Я прилагаю запись. Я понимаю, что вы, вероятно, сочтёте меня сумасшедшим. Мои коллеги считают. Но эта нота отвечала на другую. Такую же. Почти такую же. Записанную гидрофоном у берега, на глубине четырёх метров, в шестистах метрах от посёлка Лас-Пьедрас. Источник второй ноты был на берегу. Или в воде у берега. Я не знаю, что это. Я бы очень хотел знать».

Семён нажал на вложение.

Из маленьких динамиков ноутбука, сквозь шум, сквозь треск, сквозь шорох прибоя, — одна нота. Низкая. Долгая. Старая. Чужая.

А потом — другая. Высокая. Тонкая. Детская. Чуть-чуть дрожащая. Как будто поёт ребёнок, который очень боится и очень старается.

Лариса прижала ладонь ко рту.

— Это Эвель, — сказала она. — Слава. Это почти Эвель. Только поворот в конце другой. Как... как одно слово, которое по-разному говорят в соседних деревнях.

Вячеслав слушал.

Запись кончилась. Семён нажал ещё раз. И ещё.

На третий раз Вячеслав сказал:

— Это ребёнок.

— Что?

— Вторая нота. С берега. Поёт ребёнок. Девочка. Лет восемь, девять. Я тридцать лет слушаю, как поют студенты. Голос не сломался ещё. И она боится. Слышишь? Вот здесь. В середине. Дрожит.

Семён смотрел на него.

— Вячеслав Андреевич. Откуда вы...

— Сэла пела так же, — сказал Вячеслав. — У первой трубы. Когда ей было страшно.

* * *

Вера Николаевна пришла в обед. С оливье, как всегда. И с папкой.

— Я подумала, — сказала она, садясь, — раз вы всё равно поедете, а вы поедете, я тебя, Корнилов, тридцать лет знаю, то мне нужны образцы.

— Какие образцы?

— Любые. — Вера открыла папку. — Смотрите. Я полтора года работаю с вашими аталь. С кровью Доставленных, которые поднялись. С волосами, которые Лариса принесла из Дома. С ногтями Сэлы, прости господи, я до сих пор не верю, что она мне их срезала и прислала в конверте через Котова. Я знаю этот геном. Я знаю, где он есть у людей наверху. Ноль четыре процента — нет, это у меня ноль. У всех остальных — от долей процента до шести восьми, как у тебя.

Она развернула карту. Старую, распечатанную, с разноцветными пятнами.

— Это распределение. По миру. Где больше, где меньше. Северная Европа — много. Саамы, карелы, финны. Средиземноморье — пятнами. Канары. Азоры. Египет. Тихий океан — Микронезия, Марианские острова, чаморро. Видите? Всё вдоль старых путей. Тех, которыми шли тридцать девять кораблей.

— А это? — Лариса показала на карту.

Карибское море. Острова. Пуэрто-Рико. Гаити. Куба. Ямайка. Восточное побережье Центральной Америки. Пятна там были. Другого цвета. Не синего, как везде. Зелёного.

— А это, — сказала Вера, — то, чего я полтора года не могла объяснить. Геном аталь. Но не совсем тот. Другие варианты. Другие сочетания. Как будто ветка от того же дерева, но выросла отдельно. Очень давно. Я думала — ошибка. Загрязнение образцов. Я три раза перепроверяла. Это не ошибка.

Она посмотрела на Вячеслава.

— Сороковой корабль, — сказала она. — Вы мне рассказывали. Про лист в переплёте. Корнилов, это они. Их кровь. В людях островов. В тех, кто живёт там сейчас. Немного. Доли процента. Но есть.

— И что тебе нужно?

— Древнее, — сказала Вера. — Мне нужно древнее. Кости. Зубы. Из захоронений таино. До испанцев и сразу после. Если в них этого больше, чем в живых, — значит, раньше было больше. Значит, что-то случилось. И мне нужно живое. От тех, у кого этого больше всего. Волос. Слюна. Что угодно. Я хочу понять, что с ними было.

— Почему тебе это так важно?

Вера закрыла папку.

— Потому что ветка, которая выросла отдельно, — сказала она, — в какой-то момент перестала расти. Я вижу это по данным. Примерно пятьсот лет назад. Как будто её срезали. Я хочу знать, кто её срезал.

* * *

Михаил Петрович Грачёв приехал вечером.

Привёз Liber Occultus. В новом переплёте. Тёмно-синем, кожаном, с золотым тиснением: солнце с лучами. И отдельно — в прозрачной папке, между двумя листами бескислотного картона, — лист из старого переплёта. Тот самый.

— Тиэн прочитал всё, — сказал он, садясь в бордовое кресло. — Через Котова. Через Семёна. Вячеслав Андреевич, я хочу, чтобы вы знали, что там. Целиком. Прежде чем поедете.

Он положил на столик графа Орлова распечатку. Перевод. Три страницы. Котовский почерк, аккуратный, мелкий, сфотографированный и отправленный Семёну с несуществующего адреса.

Вячеслав читал.

Список кораблей. Тридцать девять имён. Певцы. Число спасённых на каждом. Сто, двести, триста. А в конце, отдельно, — сороковой.

«Корабль Заката. Певец — Тэор, сын Иэль, старший. Спасённых — двести сорок. Ушёл туда, где заходит солнце, к большой земле за океаном, ибо Тэор старший сказал: там люди, и мы им нужны. Тэор младший остался с матерью на берегу, пел вместе с ней, чтобы бежали. Мать ушла в песню. Тэора младшего взяли на корабль Иэль, последний, когда волна уже шла. Братья не простились».

Вячеслав опустил лист.

— Братья не простились, — повторила Лариса тихо.

— Двенадцать тысяч лет, — сказал Михаил Петрович. — Двенадцать тысяч лет, Вячеслав Андреевич. Ваш Тэор ни разу не сказал, что у него был брат. Тиэн говорит — никто в Доме не знал. Никто. Он держал это в себе двенадцать тысяч лет. Как держат то, о чём нельзя думать, потому что если подумаешь — не выдержишь.

— А теперь думает, — сказал Вячеслав. — Во сне.

— Во сне, — согласился Михаил Петрович.

Он помолчал.

— Там есть ещё. Последняя строка. Монбар её записал со слов Орвена, а Тиэн нашёл её и в знаках. Она такая: «И мы не знаем, жив ли он. Но если запоёт тот, кто спит, — значит, жив. Ибо так поют только тому, кто может ответить».

* * *

Ночью Вячеслав позвонил матери.

В Старую Руссу. В одиннадцать вечера. Ольга Николаевна не спала. Она никогда не ложилась раньше полуночи.

— Ты опять уезжаешь, — сказала она. Не спросила.

— Да, мам.

— Далеко?

— На другую сторону. В Атлантику. Под Пуэрто-Рико.

Мать помолчала.

— Там глубже? — спросила она.

— Глубже. Восемь тысяч.

— И как ты туда спустишься? Аркадий Ильич на пенсии. Ты сам говорил. Этот ваш аппарат на шесть тысяч рассчитан.

— Я не на аппарате, мам.

— А на чём?

Вячеслав посмотрел в окно. На Мойку. На тёмную воду. На отражения фонарей.

— В песне, — сказал он. — Как Доставленные. Как Леонид. Как Котов. Как Лариса весной поднялась. Они меня понесут. Аталь. Водой.

Долгая тишина в трубке.

— Слава, — сказала мать. — Твой дед вошёл в Сейдозеро летом тридцать шестого. И вышел на третье утро. С камнем. Бабушка Мария звала его двое суток. Без перерыва. Охрипла так, что потом месяц говорить не могла. Ты знаешь?

— Знаю.

— А ты знаешь, что он ей сказал, когда вышел?

— Нет.

— Он сказал: «Маша, я слышал тебя всё время. Только поэтому и вышел. Если бы ты замолчала хоть на минуту — я бы остался. Там было очень хорошо».

Вячеслав молчал.

— Кто будет звать тебя? — спросила мать.

— Лара.

— Лара будет с тобой. Внизу. Кто будет звать сверху?

Он не знал.

— Вот и подумай, — сказала Ольга Николаевна. — А то я сама прилечу. В этот ваш Пуэрто-Рико. В семьдесят шесть лет. С камертоном. И буду стоять на берегу, пока ты не вылезешь. Ты меня знаешь.

— Знаю, мам.

— То-то.

Она положила трубку.

* * *

Он вернулся в кабинет. Лариса не спала. Сидела в кресле у окна с ноутбуком Семёна, который тот оставил, и слушала запись. Наушники. Глаза закрыты.

— Двадцатый раз, — сказала она, не открывая глаз. — Слава. Я не могу перестать. Эта девочка. С берега. Ты прав — она боится. Но она всё равно поёт. Знаешь, кому?

— Кому?

— Ему, — сказала Лариса. — Тому, кто внизу. Она отвечает ему. Он поёт: я здесь, кто-нибудь, ответьте. А она отвечает: я слышу. Девять лет. Одна. На берегу. Ночью.

Она сняла наушники.

— Мама права, — сказала она. Она слышала разговор через открытую дверь. — Кто-то должен звать сверху. Тот, кого он услышит.

— Кто?

Лариса посмотрела на экран ноутбука. На волну записи. На маленький всплеск в конце. Высокий. Детский.

— Она, — сказала Лариса.

* * *

Утром Семён принёс билеты.

Петербург — Москва — Гуам. Через Токио. Вылет двадцатого. Обратных билетов не было.

— Деньги — от книг, — сказал он, смущаясь. — Издательство допечатало ещё двадцать тысяч. Второй книги. Я не знаю, что с ними делать. Пусть будут на это. Дальше — Пуэрто-Рико. Я уже написал Огаве. Он будет там в начале октября. Сказал, у него есть знакомые в университете в Маягуэсе и в Аресибо. Сказал, найдёт для нас дом в Лас-Пьедрас. Немиров обещал помочь с бумагами, у него остались связи.

— Ты едешь?

— Конечно, еду, — сказал Семён. — Кто-то же должен писать третью книгу.

Вячеслав засмеялся.

— Аня отпустила?

— Аня едет со мной, — сказал Семён. — Она сказала: «Если ты думаешь, что я буду год сидеть в Выборге и ждать, пока ты вернёшься со дна океана, как эти ваши Нина Георгиевна и Маргарита Павловна, — ты ошибаешься».

Лариса засмеялась тоже.

— Правильная девушка, — сказала она.

— Правильная, — согласился Семён. И покраснел.

* * *

Двадцатого сентября, в шесть утра, такси стояло у подъезда на Мойке.

Вячеслав спустился последним. С рюкзаком. В кармане куртки — два камня, деда и Тан Розы. И третий, который он положил туда вчера вечером, сам не зная зачем: маленький кусок змеевика, отколовшийся от валуна у Уха на Сейдозере, — мать подобрала его в марте прошлого года, когда отняла руки от камня, и отдала ему на свадьбе.

Он обернулся. Посмотрел на окна третьего этажа.

На подоконнике кабинета, белый, из слоновой кости, с гербом Голицыных, стоял телефон. Включённый в розетку.

Молчал.

— Поехали, — сказала Лариса из такси.

Он сел.

Глава 3. Сход у ворот

Гуам, пляж Тумон — Нижний Аталь. 21–22 сентября 2028 года

Тан Роза ждала их на чёрных камнях у входа в бухту.

Одна. В белом платье, с ожерельем из ракушек, босиком. Седые волосы распущены по плечам. За её спиной, на пляже, горели огни отелей, играла музыка в баре, смеялись туристы. А здесь, на камнях, было тихо и темно, и только волны шуршали у ног.

— Вы опоздали, — сказала она по-английски. — На двадцать минут. Девочка ждёт.

— Какая девочка? — спросил Семён.

Тан Роза кивнула на воду.

В двадцати метрах от камней, у самой поверхности, мерцал огонёк. Маленький. Голубой.

— Сэла, — сказала Лариса. И улыбнулась.

* * *

Они договорились ещё в марте. Когда Лариса поднялась из воды у борта «Курбатова» и сказала: «Больше никакой "Глубины", Слава. Аркадий Ильич на пенсии. Я год прожила внизу. Я знаю, как они ходят. Они могут взять нас с собой. Водой. В песне. Как брали Доставленных. Только Доставленные не знали, куда их ведут, и поэтому было страшно. А мы будем знать».

Вячеслав тогда не поверил.

Он поверил сейчас. Стоя на чёрных камнях у входа в бухту Тумон, в одних плавках и футболке, с рюкзаком, в котором были только камни, телефон в непромокаемом чехле и тетрадь. Глядя, как голубой огонёк в тёмной воде подплывает ближе.

Семён и Аня оставались наверху. Им не нужно было в Дом. Им нужно было лететь в Пуэрто-Рико, через Токио и Нью-Йорк, и всё подготовить: дом, Огаву, связь, приборы. Встретиться в Аресибо второго октября.

— Если мы не вернёмся к первому... — начал Вячеслав.

— Вернётесь, — сказала Аня. Твёрдо. Как Нина Георгиевна. — Я вам буду петь. Отсюда. С камней. Всю ночь. Тан Роза меня научит.

Тан Роза кивнула.

— Научу, — сказала она. — Только у неё голос хороший. Это плохо. Хороший голос Дом не слышит. Ему нужен честный.

* * *

Сэла вынырнула у камней.

Ей было пятнадцать по-человечески. За полтора года она выросла. Вытянулась. Стала выше Ларисы. Перламутровая кожа, огромные тёмные глаза с вертикальными зрачками, длинные пальцы. И улыбка — человеческая, широкая, которой она научилась у Ларисы за год.

— Привет, седьмой, — сказала она по-русски. Чисто. Почти без акцента. — Привет, восьмая. Вы готовы?

— Нет, — честно сказал Вячеслав.

— Хорошо, — сказала Сэла. — Кто говорит «да» — тот врёт. Мама так говорит.

Она протянула руки. Одну — ему. Другую — Ларисе.

— Не бойтесь воды, — сказала она. — Вода будет внутри. Это нормально. Не надо держать воздух. Отпустите. Как когда засыпаешь. Я буду петь. Вы будете слышать. Пока слышите — живы. Пока живы — идёте. Пять часов. Может, шесть. Вы будете думать, что прошла минута. Или год. Это тоже нормально.

— А если перестанем слышать?

Сэла посмотрела на Тан Розу. На Аню.

— Тогда они будут петь, — сказала она. — Сверху. И вы услышите их.

* * *

Он вошёл в воду.

Тёплую. Чёрную. Ласковую. По колено. По пояс. По грудь. Сэла держала его за руку. Лариса шла рядом, с другой стороны от девочки.

— Теперь, — сказала Сэла. — Вниз.

И потянула.

Вода сомкнулась над головой.

Он сделал то, чего тело не хотело делать ни за что. Не задержал дыхание. Выдохнул. Весь воздух. Пузыри ушли вверх. И вдохнул.

Воду.

Было больно. Секунду. Две. Как будто в грудь налили жидкий огонь. Тело кричало: нет, нет, назад, наверх, воздух! А потом — сквозь боль, сквозь воду, сквозь панику — он услышал.

Сэла пела.

Колыбельную. Ту самую. Без слов. Одни гласные. Медленная, длинная, как северная река подо льдом.

И боль ушла.

Вода в груди стала просто тёплой. Тяжёлой. Спокойной. Как будто он всегда так дышал. Как будто он вспомнил то, что знало его тело двенадцать тысяч лет назад, а потом забыло.

Он открыл глаза.

Темнота. Абсолютная. Ни верха, ни низа. Только рука Сэлы в его руке. И голос. И рядом — тепло. Лариса.

Они шли вниз.

* * *

Он не помнил потом этих часов.

Помнил только обрывки. Огоньки — голубые, белые, зелёные, — которые появились рядом на какой-то глубине и шли с ними. Холод — он пришёл сначала, а потом исчез, будто песня его съела. Давление — его не было. Совсем. Он ждал, что его раздавит, что лопнут уши, что треснут кости. Ничего. Как будто вода внутри и вода снаружи договорились между собой.

И голоса сверху.

Далеко. Слабо. Тан Роза, которая пела на чёрных камнях колыбельную чаморро. И Аня. Голос у Ани был красивым. Чистым. Сильным. Ей бы в консерватории учиться.

Он её почти не слышал.

А Тан Розу — слышал. Старую, хриплую, срывающуюся. До самого дна.

«Хороший голос Дом не слышит. Ему нужен честный».

* * *

У ворот их встретил Котов.

С фонарём из светящихся водорослей. В серебристой рубашке. С бородкой, которая за год отросла и стала совсем белой. Рядом с ним — Галина Сергеевна, маленькая, седая, в длинном платье из той же ткани, что носили аталь, с банкой малинового варенья в руках.

— Последняя, — сказала она вместо приветствия. — Слава богу, вы приехали. Привезли? Я Ларисе в письме писала.

Лариса молча достала из рюкзака две банки. Литровые. Обёрнутые в полиэтилен и скотч в три слоя.

Галина Сергеевна заплакала.

— Галя, — сказал Котов, обнимая её. — Это же просто варенье.

— Тебе — просто, — сказала Галина Сергеевна сквозь слёзы. — А я его год экономила. По ложке. По воскресеньям.

* * *

Сход собрался на следующий вечер, в час равноденствия. На Гуаме это было без четверти десять вечера. В Петербурге — без четверти три дня.

Вячеслав стоял у первой трубы, рядом со спящим Тэором.

Старик лежал на каменном ложе, как полгода назад, как год назад. Укрытый серебристой тканью. Лицо спокойное. Почти молодое. Сэла сидела рядом, держа его руку в своей.

Тэор пел.

Во сне. Тихо. Едва слышно. Губы не двигались, но звук шёл. Изнутри. Из груди. Одна нота. Низкая. Долгая. Чужая. Та, которой нет ни в одной трубе.

Купол слушал.

Тридцать одна тысяча аталь стояли на галереях, на мостах, на лестницах. Сто сорок семь человек у первой трубы. И никто не говорил ни слова. Все слушали, как спящий поёт брату, который ушёл двенадцать тысяч лет назад на запад и с которым он не простился.

* * *

— Нужно идти, — сказал Тиэн.

Он стоял в центре купола, у чёрного бассейна с голубым пламенем, с пластиной из змеиного камня в руках. На пластине были знаки. Те, что Котов перевёл с листа из переплёта. Список кораблей.

— Нужно идти, — повторил он. — Брат Тэора жив. Его Дом жив. Они проснулись. Они зовут. Если мы не пойдём — кто пойдёт?

— Мы не знаем дороги, — сказал кто-то с галереи. — Мы никогда не были в той воде. Это другой океан. Там холоднее. Там глубже. Там нет наших песен.

— Значит, споём новые, — сказал Тиэн.

— А если они не хотят нас видеть? — спросил другой голос. Старый. Хриплый. — Двенадцать тысяч лет. Они ушли. Они не вернулись. Они не искали нас. Почему?

Тиэн не ответил.

Тишина.

А потом из толпы у стены вышел Кэдмар.

* * *

Он изменился за полтора года.

Не постарел. Аталь не старели так быстро. Но что-то ушло из него. Металл в голосе. Тяжесть в плечах. Серебряные знаки на груди он больше не носил. Тиэн говорил Ларисе, что Кэдмар снял их в тот день, когда вернулся с атолла, и отдал в мастерские — переплавить на новые трубы.

Он вышел к бассейну. Встал рядом с Тиэном. Посмотрел на купол.

— Я пойду, — сказал он.

По куполу прошёл шёпот.

— Я знаю, почему они не искали, — сказал Кэдмар. — Я не был там. Но я знаю. Тиэн, ты говоришь — они проснулись. Значит, спали. Сколько?

— Мы не знаем. Лариса говорит — пятьсот лет, может быть. Если сигнал начался весной прошлого года...

— Пятьсот лет, — сказал Кэдмар. — Целым Домом. Великим сном. Все. Даже дети. Так не спят от усталости. Так спят от горя. Когда горя так много, что если не уснёшь — умрёшь. Я знаю. Я хотел так уснуть. Семьдесят лет назад. Когда Эвель... Я пришёл к Тэору и сказал: дай мне песню сна. Тэор не дал. Сказал: тот, кто спит от горя, просыпается не добрым. Он просыпается с тем же горем, только ещё больше. Потому что горе во сне растёт. Как гриб в темноте.

Он помолчал.

— Я не уснул, — сказал Кэдмар. — Я стал злым. Это хуже. Или лучше. Не знаю. Но я знаю, что они проснулись с горем. С большим. Пятисотлетним. И я знаю, что может сделать горе, когда просыпается. Я сам это делал. Я пел зов восьми миллиардам. Из горя.

Купол молчал.

— Я пойду, — сказал Кэдмар. — Потому что я знаю это горе изнутри. Если кто-то там внизу захочет сделать то, что хотел сделать я, — я узнаю его по голосу. И я спою ему Эвель. Седьмая статья.

* * *

Сход пел долго.

Решили так: идут Кэдмар, Тиэн и Сэла.

Сэла вызвалась сама. Мать её, Ноэль, долго не пускала. Говорила: ты ребёнок. Говорила: это другой океан. Говорила: я уже один раз чуть не потеряла тебя у бассейна, когда пел Совет. Сэла выслушала. А потом встала посреди купола и запела Эвель. Одну ноту. Высокую. И сказала по-русски, так, чтобы поняли все гости:

— Там поёт девочка. С берега. Я её слышу. Она одна. Ей страшно. Ей надо, чтобы кто-то ответил. Кто ответит, если не я?

Ноэль заплакала. И отпустила.

Тиэн шёл переводить. Он один в Доме знал старые знаки. Если западные заговорят — он поймёт.

А Кэдмар — потому что Кэдмар.

И седьмой с восьмой.

— Ты не обязан, — сказал Тиэн Вячеславу после Схода. — Это наше дело. Наш брат. Наш Дом.

— Тэор позвонил мне, — сказал Вячеслав. — Не тебе. Мне. По телефону Голицыных. По-латыни. «Брат ищет брата». Я ответил: «Мы идём». Я не могу теперь не пойти.

— Это был не Тэор, — сказал Тиэн. — Тэор спит. Это был тот. Старший.

Вячеслав замер.

— Откуда ты знаешь?

— Тэор не знает латыни, — просто сказал Тиэн. — Он никогда не был наверху среди людей. Он двенадцать тысяч лет здесь. А тот, старший, жил с людьми. Учил их. Учился у них. Если к ним приходили испанцы — пятьсот лет назад — он слышал латынь. От монахов. Он выучил её. И запомнил. Пятьсот лет во сне — и запомнил.

* * *

Ночью Вячеслав не спал.

Сидел у ворот. Под семью статьями, вырезанными его почерком. Лариса спала рядом, положив голову ему на колени. Она устала. Пять часов в воде, в песне, — это было тяжелее, чем она говорила.

Кэдмар подошёл тихо. Огромный. Тёмный. Сел на камень рядом. Долго молчал.

— Седьмой, — сказал он наконец.

— Да.

— Ты знаешь, что в той воде нет наших дорог.

— Тиэн говорил.

— Мы с Сэлой поведём вас. Но в чужой воде наша песня слабее. Она не знает той воды. Та вода её не знает. Нужен голос оттуда. Сверху. С их берега. Тот, кого знает их вода. Иначе мы не дойдём. Восемь тысяч. Это на две тысячи больше, чем здесь. И холоднее.

— Девочка, — сказал Вячеслав.

Кэдмар кивнул.

— Та, которая поёт с берега. Её голос — их вода знает. В ней их кровь. Если она будет петь, пока мы идём вниз, — дойдём. Если замолчит...

Он не договорил.

— Ей девять лет, — сказал Вячеслав.

— Эвель было восемь, — сказал Кэдмар.

Они помолчали.

— Я не хочу, — сказал Кэдмар тихо. — Чтобы ребёнок пел для нас. Стоял у воды. Ночью. Один. Я семьдесят лет думаю о ребёнке, который стоял у воды один. Я не хочу ещё одного.

— Она не будет одна, — сказал Вячеслав. — Я тебе обещаю.

Кэдмар посмотрел на него.

Перламутровые глаза. Мокрые.

— Седьмой, — сказал он. — Ты обещаешь странные вещи.

— Я знаю.

— И почему-то их выполняешь.

* * *

На рассвете — на том, что в Доме называли рассветом, когда Лёгкие делали самый глубокий вдох, — Вячеслав подошёл к Тэору.

Старик спал. Пел во сне. Одну ноту.

Вячеслав опустился на колени рядом с ложем. Сэла подвинулась.

— Тэор, — сказал он тихо. — Я иду на запад. К твоему брату. Я не знаю, что ему сказать. Скажи мне. Что ему сказать?

Тэор не ответил.

Нота лилась. Низкая. Долгая. Чужая.

А потом — на одно мгновение — изменилась. Стала чуть выше. Чуть короче. И в конце — поворот. Такой, какого Вячеслав никогда не слышал ни у Тэора, ни у Сэлы, ни у Кэдмара. Ни у кого.

Сэла вздрогнула.

— Что это? — прошептал Вячеслав.

Сэла слушала. Губы у неё дрожали.

— Это не нота, — сказала она. — Это слово. Старое. Очень старое. На языке острова. Его не говорят двенадцать тысяч лет. Тиэн знает. Я — только чуть-чуть.

— Какое слово?

Сэла посмотрела на спящего старика. На его спокойное, почти молодое лицо.

— «Прости», — сказала она.

Глава 4. Аресибо

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.